

«Семечки» Вагинова как (по)этический документ

Юлия Воробьева

ОСЕНЬЮ 2023 года «Семечки», записная книжка Константина Вагинова, была впервые полностью опубликована. В книге, вышедшей в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге, текст источника обрамляется текстологическими примечаниями и исследовательскими статьями, а также комментарием и указателем соответствий записей в «Семечках» фрагментам романа «Гарпагониана». Вполне очевидно, что подобная рамка определенным образом концептуализирует представленный материал, предопределяя то, как он будет прочитан.

Как кажется, легитимным будет непосредственное вступление в этот интерпретирующий дискурс через заимствование части декораций из вступительной статьи Дмитрия Бреслера и Михаила Лурье «Все характерное, смешное и странное», название которой, в свою очередь, отсылает к первому упоминанию «Семечек» в некрологе, написанном Николаем Чуковским на смерть писателя. Из укоренившейся в исследованиях творчества писателя традиции складывается примерно следующее понимание: записная книжка не отражает биографию Вагинова, не вбирает в себя следы легко считываемой рефлексии, не содержит ни дневниковых записей, ни тех, что можно было бы назвать заметками на полях.

Поля проникают в текст в ином семантическом преломлении — записи могут быть помыслены как «полевые заметки», конспекты того, что было подслушано на улицах или случайно услышано, — иначе говоря, как форма, фиксирующая живую речь. Тем самым публикация «Семечек» обретает дополнительную ценность — важны не только связь этих записей с биографией писателя-собирателя и контекстом его бытования, но и тот факт, что они могут быть рассмотрены как монумент (в понимании Жака Рансьера) — «случайный» памятник устной культуры 1930-х годов¹, фольклорный источник. В своих комментариях к этому изданию Михаил Лурье указывает на то, что благодаря записям Вагинова удастся зафиксировать и атрибутировать наиболее ранние версии тех или иных анекдотов, поговорок, переложений былинных сюжетов, а рассмотрение записанного

1. Речь идет о противопоставлении документа и монумента у Жака Рансьера. По его мысли первый есть отчет о свершившемся, задача которого «сделать память официальной», в то время как второй — вещь, которая «говорит без слов, наставляет нас, не намереваясь наставлять нас» и сохраняет память исключительно благодаря тому, что заботится только о своем настоящем. *Rancière, J. Figures of History. Cambridge: Polity Press, 2014. P. 22.*

писателем на ленинградской барахолке стихотворного обращения рыночного мошенника и вовсе позволяет проследить генезис традиции игрового фольклора российских наперсточников.

Тем не менее с академической/литературоведческой точки зрения «Семечки» ценятся прежде всего как биографические и источниковедческие данные, обращение к которым позволяет прояснить и охарактеризовать «поэтическую проблематику и литературную технику» позднего Вагинова. Записная книжка воспринимается и описывается как форма, в которой коллажные склейки различных дискурсов и стилей, сочетания письменной (литературной) и устной (живой) речи формируются и обрабатываются так, что их составные элементы становятся легко опознаваемыми, а механика этих процессов — видимой. Вследствие этого «Семечки» приобретают значение вполне самостоятельного произведения, «социолингвистической лаборатории» (с. 26), задействованной Вагиновым для разработки своего художественного метода. В качестве его особенностей Дмитрий Бреслер выделяет «свойственные поэту представления о формах проявления литературности в обыденной жизни и в повседневном общении, о роли автора как собирателя и скриптора», а также «эстетический императив „правдивости“ литературы по отношению к действительности» (с. 13). Таким образом публикация записей обретает дополнительную легитимацию, позволяя преодолеть уже сложившееся восприятие, согласно которому «Семечки» имели статус накопленного материала, которым Вагинов просто не успел воспользоваться.

Фрагментарная публикация для ознакомления с источником была произведена Татьяной Никольской дважды: сначала в 1998 году в литературном альманахе «Петрополь» при участии Т. И. Виноградовой, а затем ими же совместно с В. И. Эрлем в 1999 году в составе «Полного собрания сочинений в прозе». В предисловии к публикации в «Петрополе» «Семечки» упоминаются как записи, относящиеся к 1930-м годам, которыми Вагинов пользовался, работая над второй — неоконченной — редакцией романа «Гарпагониана». Такое прочтение очевидным образом непосредственно связывало записи с творчеством, придавая им значение литературного факта, в то время как факты другого рода, например биографические, долгое время мыслились как почти отсутствующие в пространстве этого текста, что и приводило к девальвации если не значения, то исследовательского потенциала

«Семечек». Теперь же не опознанные ранее цитаты атрибутируются и встраиваются в контекст вагиновского чтения, сближая доминирующие методики вагиновской работы с языком — процессы чтения и вслушивания в среду (с. 18).

Несмотря на то что новое издание «Семечек» *задает* иную рамку восприятия, комментаторы не порывают с прежней исследовательской традицией, а, напротив, наследуют ей, обнажая преемственность символическим жестом посвящения книги «памяти Владимира Эрля» (умершего в сентябре 2020 года), подготовившего к печати вышеупомянутое собрание сочинений. Благодаря этому жесту книга, предлагая переосмысление уже известного, начинает читаться как вдумчивое высказывание, вступающее в диалог с прежними поколениями исследователей. Вместе с тем академическое издание «Семечек» не только вводит в оборот «черновые материалы», но и способствует канонизации, — если не самого Вагинова, то определенных установок восприятия его поэтики.

Жанр комментария и в особенности сопроводительной статьи предполагает некоторую прескриптивность вне зависимости от авторской интенции, так как направляет и взгляд, и фокус внимания читателя. Таким образом, в исследовательском дискурсе закрепляется (в меру устойчивая) система координат: чем более стабильной она кажется, тем более легитимными становятся штудии, производимые в ее рамках, более того — (ре)актуализация фигуры писателя нередко приводит и к повышению академического статуса исследователя. Это замечание, конечно, не пытается поставить под сомнение инструментальное значение комментария в отношении такого материала, как «Семечки». В отсутствие такового читатель, быть может, и смог бы насладиться слепком речевой культуры 30-х годов прошлого столетия, но вряд ли сумел в нем разобраться (определить социальный контекст, локализовать тот или иной голос-говор).

Чтобы перейти от артикуляции исследовательской прагматики издания записной книжки к тому, чтобы вслед за составителями сформулировать, какой смысл в ее ведение мог вкладывать сам Вагинов, обращусь к сопроводительным материалам. Во вступительной статье оговаривается, что само название «Семечки» (или «Зерна», написанное на шмуцтитуле в квадратных скобках), контекстуально связано с упражнениями в греческом, располагающимися на предшествующих страницах. Значение «семян» в текстах Анаксагора и Эпикура, — «первоэлемент». Так Вагинов, записывая «не-

обязательные впечатления» и случайные языковые образы, собирает в своей записной книжке строительный материал мироздания, — все то, что еще должно прорасти, обрести затем завершённую литературную форму. Осторожно, не позволяя этой линии мысли «прорасти» (обрести более четкие очертания), замечу, что пассаж, признанный пролить свет на смысл заглавия, остается темным пятном, его «ироничный, если не сказать язвительный, буквализм» (с. 14) не кажется столь очевидным. Куда более убедительно вводится информация о датировке: ссылаясь на текст, списанный Вагиновым с театральной афиши в Сухуме, исследователи предполагают, что начало ведения записей совпадает с поездкой в санаторий осенью 1932 года для лечения туберкулеза (там же), а «упоминание торжеств в Ленинграде по поводу шестнадцатой годовщины Октябрьской революции» (с. 15) ближе к концу тетради позволяет сделать вывод, что записи велись как минимум до осени 1933 года. Между тем с большой долей вероятности что-то могло (в/до)писываться писателем вплоть до момента обострения болезни (или даже смерти), то есть до весны 1934 года. Эту гипотезу несложно обосновать, указав на нерегулярность и хаотичность ведения записной книжки, на ее внутреннюю темпоральную неоднородность. Бреслер отмечает, что списки (например, с выписками из словарей и/или каталогов) Вагинов в большинстве случаев располагал на левой стороне разворота тетради, оставляя правую для своих прозаических набросков, в которых использовалась (за/вы)писанная им ранее лексика (с. 20) — иллюстрация тезиса о том, что записная книжка являет собой «документ творческой лаборатории» писателя (с. 31).

Следует оговорить, с чем именно ведется эта «лабораторная работа». Составители выделяют отчетливые доминанты, объединяющие разномастные записи — «ориентация на устность и на поиск маргинального языкового материала» (с. 16). Большая часть записей в действительности существует на пересечении этих осей, например когда записи группируются по принципу единства места. С одной стороны, дискурсивно выраженное пространство отражает его антропологическое наполнение, с другой — их заголовки («Гербарий Владивостокских впечатлений») являются удачной иллюстрацией, подтверждающей коллекционирование в качестве основного принципа вагиновской поэтики.

О поэтической ориентации Вагинова на устность свидетельствует его интерес к «фольклору социального дна».

В «Семечках» выделяется лексикографический блок записей воровского жаргона, насчитывающий более 130 вхождений, не совпадающий в полной мере ни с одним из «вышедших в первой трети XX века словарей и подборок „блатной музыки“» (с. 18). При этом некоторые известные фольклористам слова и выражения толкуются им иначе и/или приводятся с другими значениями. Другая важная особенность этих записей — то, что они сопровождаются речевыми контекстами — примерами употребления, а иногда и поясняющими описаниями: «местами лексикография преступного мира тянет за собой этнографию (Фомка — маленький ломик, носят за голенищ<ем> или в рукаве)» (с. 19). Все это вкупе с неточностями, с указанием на то, что для объяснения одних арготических выражений использованы другие, позволяет заключить, что записи, вероятно, «представляют собой конспект пояснений, которые давали писателю его „информанты“» (с. 20).

Собирание устной словесности, как отмечают комментаторы, было нередким увлечением для интеллигенции в 1920–1930-е годы. Особенность паремиологического корпуса, собранного Вагиновым, состоит в социальной среде, из которой черпаются его материалы, — в этих по большей части «непечатных» текстах отражается культурный обиход эпохи (с. 22). Фрагменты опубликованных текстов также попадают на страницы записной книжки, причем эти выписки предельно вариативны: от российских словарей конца XVIII века до сборников устных рассказов о Гражданской войне, от «стихотворных упражнений третьесортных поэтов» до «досадных опечаток», обнаруженных в прочитанном (с. 25). Это разнообразие, по мысли Бреслера, оттеняет специфическое отношение Вагинова к тексту, ткань которого представляется ценной сама по себе, вне зависимости от выбранной формы и авторской интенции (с. 26).

Сопровождающий текст записной книжки комментарий — наиболее показательная часть проделанной составителями работы, позволяющая проиллюстрировать представленные ранее тезисы, хотя последовательность движения исследовательской мысли, очевидно, была обратной. Авторам комментария удастся атрибутировать источники цитат, поместить записанные Вагиновым обрывки фраз и жаргонизмы в обобщающую рамку историко-культурного и биографического контекстов его творчества и литературных интересов. На мой взгляд, именно комментарий наиболее

успешно справляется как с задачей представления Вагинова читателю, так и с представлением результатов текстологических изысканий.

Последнее, что стоит отметить, говоря о структуре издания, это завершающая книгу серия статей, стабилизирующая смысловое разнообразие записей. Дискретная и гетерогенная природа материала, казалось бы, допускает столь же дискретное и гетерогенное построение рефлексии о нем. В сущности, это действительно так, однако эта метаигра не находит отражения в структуре настоящего издания. Порядок расположения статей безусловно подчиняется строгому порядку: статья Бреслера и Молькова, посвященная «греческим штудиям», предшествует статье-расследованию об атрибуции адреса и номера телефона, что соотносится с последовательностью записей в тетради (упражнения в греческом предваряют основной блок записей, а адрес появляется на одной из последних, незаполненных страниц). Менее логичным представляется то, что этот комментарий (в форме статей) к периферийным записям в «Семечках» обрамляется статьей Бреслера о поэтике «коллажных романов» Вагинова и указателем соответствий записей из «Семечек» с «Гарпагонианой». Как кажется, они вполне могли бы быть логически сближены, поскольку в своей статье Бреслер раскрывает тезис о том, что записная книжка — коллаж из цитат, основной поэтический инструмент Вагинова, с помощью которого он работал с повседневностью и современностью путем присвоения и объективации «чужого» слова, а указатель буквально обнажает механику реализации подобного творческого акта.

С точки зрения структуры и формы интересно то, что греческая часть тетради не представлена в издании и существует, скорее, как невидимый паратекст, даны лишь описания ее содержания с указанием на атрибутированные источники текстов, переводимых Вагиновым. Как и в случае с основным блоком записей, текст статьи дополняется несколькими отсканированными страницами. Они же, в свою очередь, сопровождаются небольшим комментарием и расшифровкой, демонстрирующими желание составителей приблизить материал и его автора к читателю, — не только показать текст, но и дать возможность его прочитать. Несмотря на свой сравнительно небольшой объем, статья удачно справляется с задачей представления того, что было вынесено за скобки, контек-

стуализируя записанное в биографии писателя: интерес Вагинова к изучению древних языков связывается с фактом его знакомства с филологами-классиками, входившими в состав домашнего переводческого семинара АБДЕМ (с. 388), контуры деятельности которого также прорисовываются в статье. Занимательно, что рассмотрение вагиновских упражнений способствует вынесению ряда исследовательских суждений как о процессе изучения, так и об уровне знания языка. Отмечается, что с Аристенета (и до конца) записи становятся более небрежными, а сами занятия, вероятно, менее тщательными (с. 391), предположительно, интерес и вовлеченность Вагинова в эти штудии совпадают с периодом работы Егунова над переводом «Эфиопик» Гелиодора и ослабевают после его завершения. Заключение о том, что Вагинов владел древнегреческим на начальном уровне, основывается на наблюдении за характером выписок и словарных комментариев: нередко даются переводы к частотным словам, обнаруживаются и повторения, ошибки в интерпретации и записи различных слов, непереуведенные словоформы (с. 392). Таким образом, прагматика комментирования и тщательного вглядывания в тексты обретае зримое для читателей, мало знакомых с текстологическим анализом.

Пожалуй, еще более увлекательной им может показаться статья Хадикова и Дмитренко, представляющая собой почти детективное расследование, в ходе которого авторам удастся узнать, кому принадлежал записанный Вагиновым адрес и телефон, предположить, когда и как писатель мог с ним познакомиться, выдвинуть гипотезу о том, что этот человек (Владимир Листов) мог быть прототипом главного героя романа «Бамбочада» — Евгения Фелинфлейна, и опровергнуть ее, так как запись датируется не раньше 1931 года (на основании выясненных фактов), а в это время роман уже был опубликован. Разрушению выстроенного авторами карточного домика предшествует изысканное рассуждение о том, что появление тех или иных топонимов и прочих вставных эпизодов («обилие „туркестанских“ и „среднеазиатских“ вставных новелл как в „Бамбочаде“, так и в последнем романе Вагинова „Гарпагонияна“) в прозе Вагинова могло быть навеяно эпизодами из биографии прототипа — еще один показательный аргумент в пользу изучения подобных материалов, когда пара строк оказывается способной объяснить и связать между собой все то, что ранее оставалось неотрефлексированным.

Остановлюсь и на том, как оформлен текст самой записной книжки, поскольку выбранные издательские стратегии, направленные на то, чтобы недоступный публике источник (записная книжка, указывают комментаторы, хранится в частном собрании) обрел предельно возможную видимость, достойны отдельного упоминания. Произведенная ремедиация по возможности буквальна: в издании сохраняется распределение записей по разворотам и страницам тетради (в том числе даны и пустые страницы), воспроизводятся короткие горизонтальные черты, которыми писатель педантично отделял одну запись от другой, притом что всего их более тысячи. Помимо этого, недоступная материальность проявляет себя на пятнадцати отсканированных страницах, приведенных в качестве документального послесловия, визуально подтверждающего характер записей. Тот факт, что его удастся передать, — особое достоинство издания и его концепции, — таким образом, контекст записи становится видимым, что, в свою очередь, дает возможность наблюдать за тем, что и как комбинируется, связывается между собой, показывая сочетания разных типов и стилей говорения.

Другие принципы публикации, которые оговариваются в соответствующем блоке (вступительной статье), представляются менее концептуальными, классическо-академическими, а потому не требующими дополнительного освещения. Среди них предельная близость к автографу, воспроизведение орфографии и пунктуации источника, специальных графических знаков, которые присутствуют в рукописи, — подобная методичность подсвечивает время и внимание, уделенное составителями источнику, и качество проделанной ими работы.

Последнее замечание, которое мне бы хотелось сделать в отношении оформления, касается фотографий и других документальных материалов, обрамляющих каждый содержательный блок издания. Значимо не только то, что они действительно хорошо подобраны, но и их функциональность, способность сделать видимым то, что остается непредставленным в тексте. Помимо этого, привлечение визуального материала, как кажется, срабатывает, углубляя эффект документальности, выступающего связывающим мотивом издания, складывающегося, — подобно публикуемой записной книжке, — из полифонии авторских голосов и разнородных структурных компонентов.

Первый уровень документальности: интерес Вагинова к источникам, не предназначенным для печати, второй:

программный тезис составителей о том, что «Семечки» — это документ, не только сохранивший следы стилистической работы писателя, но запечатлевший определенный срез речевой культуры своей эпохи. И, наконец, третий, отражающий как современный взгляд на представленный материал, так и актуальное состояние исследований творчества Вагинова, да и в целом литературоведческого дискурса — того, в каких системах координат формируется представление о том, что нужно извлекать из безвестности периферии литературного процесса путем принятия тех или иных издательских решений. Наша книжная повседневность, ее презумпции, установки и пресуппозиции, таким образом, тоже невольно документируются, вновь обращая «Семечки» в документ, — но уже иной эпохи. Наше настоящее укореняется в создаваемой документальной реальности даже на визуальном уровне: фотографии Марии Юшмановой, приведенные в конце статьи Хадикова и Дмитренко, были сделаны в Новом Петергофе в прошлом году, однако благодаря выбранным стратегиям ремедиации, единообразию черно-белой печати, они тоже опознаются нами как прошлое, способное встроиться в один ряд с архивной фотографией дома № 19 на набережной реки Карповки, где на четвертом этаже проживали Владимир Листов и Алексей Вагинов (старший брат писателя).